но закономерно. Чтобы убедиться в этом, посмотрим, как соотносится этический пафос притчи с авторским поведением в некоторых существенных ситуациях.

Этические принципы автора обычно не раскрываются здесь прямо; они скорее угадываются по контрасту с изображаемым, определяя значение иронической авторской усмешки или печальной улыбки. Важный для автора и существенный в христианской этике мотив аскетизма [2] можно увидеть, например, в следующем ироническом пассаже, предваряющем описание того, как закусывал в трактире Чичиков: «Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. ⟨...⟩ господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком...— вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба!» [1, т. 5, с. 86—87].

Сложность и неоднозначность авторской «зависти» содержательно интерпретирована Ю. В. Манном, обнаружившим в приведенном рассуждении ироническую неопределенность [5, с. 170—172]. Но, при всей бесспорной неопределенности, при полном отсутствии категоричности, есть здесь и некий принципиальный для авторского миропонимания нравственный абсолют: наращивая свою «плоть», персонажи, особенно Чичиков, лишают себя все более и более возможности духовного возрождения. В «Мертвых душах», вообще обладающих повышенной семиотичностью, «насыщение» оказывается знаком омертвения души. Между тем духовное подвижничество, которым отличается авторский путь, требует пренебрежения ко всему тому, что способно вызвать одно лишь количественное увеличение «плоти», дать одно лишь физическое «насыщение».

Во всем, что касается этических принципов, авторская ирония и самоирония не исключают серьезного момента, более того, подразумевают его. Ведь аскетизм как добровольное служение духу, в том числе и собственной духовной природе, предписывал отказ от поглощенности своекорыстными и сугубо материальными заботами и расчетами, требовал расширения внутреннего этического пространства; идеалом служило здесь не умерщвление плоти, но ее «очищение», «просветление» и «преображение» [13, с. 72—73]. И в авторском понимании аскетизм — не менее важное условие духовного подвижничества, чем «уединенные беседы с самим собой», о нравственном значении которых напоминает читателям автор. «Беседы» эти предполагают осознанное стремление к очищению души. Уединение — существенный мотив христианской этики, значимый и для индивидуального опыта самого автора: «Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и освежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше» [1, т. 5, с. 320]. Дидактический вывод из притчи о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче обусловлен выявленными в поэме фактами духовной биографии автора.

Продиктованные притчей поучение и дидактика связаны не только с жанровым каноном, но и в первую очередь с авторской этической позицией, с авторскими самопризнаниями, с принципиальными мотивами лирических отступлений. Автор вообще далек от позы самоуверенного глашатая истины, холодного судьи или резонерствующего моралиста. Не вполне точными (что объясняется недостаточным вниманием к подлинному смыслу этической позиции и этического пафоса автора) кажутся суждения о нем как о «пророке». Если вспомнить знаменательную для русской культуры оппозицию пророка и странника [14, с. 253—254, 258—262], то этический пафос автора окажется куда более родственным моральным «правилам» странничества. Автор не обличает, но укоряет. И слово укора обращено не только к героям и читателям, но и к самому себе. Не отсюда ли идет откровенное, как на исповеди, признание: «Теперь равнодушно

[2] «Аскетизм, вообще говоря, есть константа христианской этики...» [12, с. 22].